Эта статья была мною написана более двадцати лет назад, а в 2001 году она стала предисловием к книге стихотворений Николая Беляева «След ласточки», изданной Татарстанским отделением Союза российских писателей. В нынешнем сентябре Николаю Николаевичу, «самому казанскому из всех казанских поэтов» (так его называли близкие по устремлениям стихотворцы, барды, художники, музыканты и геологи) исполнилось бы восемьдесят лет. Но до своего юбилея поэт не дожил. Его земной путь закончился 24 декабря 2016 года.

Статья пригодилась для нашей постоянной рубрики. Я её только подкорректировал в связи с изменившимися за долгое время обстоятельствами. Вслед за нею мы публикуем стихи из новой книги Николая Беляева «На последней прямой», которую он успел сдать в Татарское книжное издательство ещё при жизни, но, судя по названию, в предчувствии ухода. Недавно книга вышла, и мы рады сказать об этом всем, кто помнит поэта.

* * *

В начале шестидесятых я решился и отослал все полтора десятка сочинённых к тому времени стихотворений в редакцию газеты «Комсомолец Татарии». Через некоторое время пришёл ответ, в котором не было ничего утешительного. Слишком плотно оттиснулась на моих опытах печать есенинской музы, что и было убедительно доказано.

Признать собственную несостоятельность нелегко, и это знает всякий, кто хоть раз был на моём месте. Но я впервые за свои восемнадцать лет получил письмо от поэта! Его стихи иногда публиковались в той же республиканской газете. Я разыскал и вновь прочёл строки о сосне, которая «росла, как в каменном колодце, внизу, на дне глубокого двора». Домохозяйки опутали её «надёжною верёвкой бельевой», но однажды...

Я рано встал. И мало удивился,
не обнаружив за окном сосны.
Она ушла.
Куда — никто не знает.
Ушла, по лужам волоча бельё.
Она ушла. Хоть так и не бывает.
Ушла и всё.
Я счастлив за неё.

Всё было незаёмно в этих стихах о послевоенном быте, из которого каждому в юности хотелось убежать туда, где «под крылом самолёта о чём-то поёт зелёное море тайги» — в «настоящую» жизнь. Поэт Николай Беляев (а речь идёт именно о нём) убедил меня подлинностью изображённого, что удивительным образом гармонировало с фантастическим побегом сосны. Наверное, поэтому я смог всерьёз задуматься над его письмом.

А в 1968 году я впервые очутился на казанской улице Баумана, 19, где располагался Союз писателей Татарии, получив приглашение приехать на семинар творческой молодёжи. К тому времени я отслужил в армии. А что касается поэтического образования, то начитался без разбору шумных кумиров поэтической эстрады. Их влияние оказалось не слабее есенинского, они надолго заслонили от меня Тютчева, Фета, Блока, Бунина, Заболоцкого и поэтов фронтового поколения.

В узком, как школьный пенал, кабинете выяснилось, что на семинар меня рекомендовал всё тот же «Комсомолец Татарии», где мои стихи, присланные из армии, были всё-таки напечатаны. Во время разговора с литконсультантом я обратил внимание на человека, который стоял с беломориной в руках возле открытой форточки. На вид он был лет на семь-восемь старше меня и совершенно не походил на поэта. Поэт, как мне тогда казалось, должен выглядеть модным и экстравагантным. Как Вознесенский. А этот отличался от человека с улицы только тем, что был пострижен наголо.

Услышав мою фамилию, незнакомец подошёл, улыбнулся и протянул руку:

— Так это ты — Колька Алешков?

— Да, я.

— А я — Колька Беляев. Здравствуй!

Я удивился, что он помнил меня, ведь прошло несколько лет после нашей переписки. Беляева, кажется, уже приняли в Союз писателей. Но ни единой нотки превосходства не чувствовалось в его обращении к начинающему. Гораздо позже я пойму, что Беляев признаёт только единственный способ общения — на равных с кем бы то ни было. В стихах о послевоенной очереди он выразил это ёмкой формулой — «равенство равных мне».

Вот и зачастил я вскоре после семинара к Николаю Николаевичу с новыми стихами. Он успел после окончания знаменитого геофака университета (его однокашниками были Роман Солнцев и Станислав Говорухин) поколесить с геологическими партиями по Уралу и Сибири, перетрудил, как выяснилось, позвоночник и вынужден был расстаться с профессией геофизика, устроившись то ли корреспондентом, то ли литконсультантом в «Комсомолец Татарии». А я был только что принят на дневное отделение истфилфака того же Казанского университета, где проучился, правда, всего два семестра и бросил — не зря говорят: кто не был глуп, тот не был молод. Стихи я тогда писал шустро, с акцентом на провозглашаемое «новаторство». Чего стоили названия моих сочинений: «Бред № 1», «Бред № 2», «Бред № 3»!

Тихо. Скорбно. Тлетворным шпарит.
Как долина небытия!
И распяты на чёрных шпалах
небо, ты, я.

— Во даёт! — изумлялся Беляев. — Прямо Бодлер челнинского разлива! Фокусы всё это, Колька, не подкреплённые опытом. Извини, они не по моей части... Слава Богу, встречаются у тебя другие — искренние и живые строчки: «Как безнадёжно выцвела трава, и как натянуто звенят дожди тугие!» Ты взял чистый звук, нашёл интонацию. Неужели сам не чувствуешь?

Я и впрямь не чувствовал. Мне тогда именно эти строки казались невыразительными, чересчур простыми. Много воды утечёт, прежде чем я принципиально не

захочу никого ошарашивать стихами, твёрдо усвоив и на примере Беляева, что они не для того создаются. А тогда мной владела «охота к перемене мест».

Беляев не удерживал. На прощанье подписал и подарил только что выпущенную книгу, которая называлась «Ветер». Сказал: «Авось, сгодится в дороге».

Книга сгодилась. Не раз и не два я читал и перечитывал:

Над площадью звезда ночная зажжена.
Как пусто, холодно, как ветрено и сыро!
Лишь на вокзале так обнажена
трагическая бесприютность мира.

И ещё:

Ухожу. Отныне и присно.
В ночь, где новых иллюзий нет.
Со щелчком, внезапным, как выстрел,
навсегда погас золотистый,
перекушенный дверью свет.

Особенно нужными эти строки оказывались тогда, когда на собственной шкуре приходилось испытывать то, о чём они горько рассказывали.

Наверное, такой опыт и есть обретение судьбы. Поэту, наверное, надо пройти через вокзалы. Только не дай-то Бог потеряться в них! Разве мало потерялось? Как трудно, но как важно остаться человеком при любых обстоятельствах, не сломаться, сохранить себя!

Что тут может помочь? Не способность ли чувствовать и любить красоту, которая в стихах Николая Беляева всегда присутствует, как «свет надежды»:

Женщина, грустное чудо...
Меж нами двойное стекло.
Ты что-то шепчешь оттуда
таинственно и светло...

Мы знали друг друга почти полвека. Вот и ко мне подступил «возраст ясности», когда «душа иное обретает зренье». Обретает ли? Наверняка Николай Николаевич ответил бы на этот вопрос не тогда, когда возникла у него строка-догадка, а сейчас, когда душа его оказалась за пределами земного круга, куда мы с вами, уважаемые читатели, пока не торопимся, ибо — всему свой срок...

Видно ли человеку в возрасте за 70 «далеко во все стороны света»? Не берусь ответить. Знаю только одно — оставшееся время надо употребить не на количество, а на качество ещё ненаписанных стихов, как это всегда делал мой старший казанский друг и, смею теперь сказать, наставник. Теперь, потому что при жизни он не любил, когда к нему так обращались. А многим и разным, приходившим к нему, говорил, дескать, мы все друг у друга учимся, с чем-то соглашаясь, а с чем-то и нет.

В семидесятые (кажется, вечность тому назад) шли дискуссии о литературном наставничестве: хорошо, что оно существует, или плохо. Иногда поэты старшего поколения приводили в издательство за руку своих подражателей, и это было ужасно. Беляев за руку никого никуда не водил, но тратить драгоценное время на конкретный разбор тех или иных сочинений не отказывался, вести беседы в «кругу хороших людей», частенько заглядывающих к нему на огонёк, любил. Мог написать предисловие к твоей книжке или отозваться о ней в печати, но это только в том случае, если написанное тобой его действительно «зацепило».

Мы с Инной Лимоновой шесть лет заочно проучились в Литературном институте имени А. М. Горького, посещали там один и тот же поэтический семинар. Казалось бы, чего ещё надо: и среда соответствующая, и преподаватели уникальные. Однако

все эти годы для нас существовал ещё один семинар — беляевский. В течение трёх десятилетий, оказавшись в Казани, я мог в любое время суток постучаться в гостеприимную квартиру Николая Николаевича и его жены Вилоры Касимовны на Горках, где не грех до утра засидеться за крепким чаем: иногда с глазу на глаз с Н. Бе (так он подписывал свои письма), а иногда и, правда, в хорошей компании стихотворцев, музыкантов, художников и, конечно, геологов. Для меня это были благодатные вечера. Молодая душа впитывала всё, на чём взрослела, отличая подлинное от мнимого.

И сколько нас, вышедших на простор с маленькой кухни дома Беляевых с тяжёлыми от бессонницы, но просветлёнными головами? Казанцы Виль Мустафин, Равиль Бухараев, Владимир Ченцов, Рустем Сабиров, Валерий Трофимов, Вячеслав Баширов, Эля Блинова, Сергей Малышев, челнинцы Руслан Галимов, Леонид Остапенко, Жора Сушко, Паша Юлаев, Валентина Мурзина, Инна Лимонова, я. Ау, где вы сегодня, ребята? «Иных уж нет, а те — далече». И тех, кого нет, увы, большинство... И большинство из перечисленных приходило не только в квартиру Беляевых, но и на поэтическую студию «ARS poetika», которую Николай Николаевич обосновал и долго вёл при Казанском университете. Примечательно, что на афишах студии всегда красовался девиз: «Вход и выход — свободны!»

С Белявым хотелось общаться, он ни над кем не довлел и был неназойлив, как и его поэзия. Я, испытавший немало разных поэтических влияний, под властью его стихов никогда не был, хотя это не мешало мне любить их. В отличие от многих, разделившихся в девяностые на непримиримых друг к другу «демократов» и «патриотов», Николай Николаевич умел прислушиваться к другому, вроде бы и не близкому для себя голосу и понять его. Лишь бы голос не звал «по ту сторону гуманизма», как любил он подчёркивать. Вот эта чёткая грань и оказалась для меня лично едва ли не самой главной в уроках Беляева...

Кому-то из вступивших в Союз писателей в советское время и считавших себя профессиональными поэтами (Беляев смеялся — разве есть такая профессия?) удавалось издавать ежегодно по книжке (а то и по две, три). А он за полвека вдумчивой работы выпустил их чуть более десятка, поскольку был не из тех, кто умеет пристраивать собственные рукописи. Принёс в издательство, взяли — хорошо, не взяли — до свидания. Заниматься проталкиванием не станет. А ведь этот «недостаток» — признак собственного достоинства, клеймо подлинного поэта. У Беляева не было ни одной случайной книги. Каждая из них — «Голоса расстояний», «Казанская тетрадь», «Тысячелистник», «След ласточки», «Помню. Слышу. Люблю», «Поэма солнца» (перечисляю наугад) — представляет собой нечто цельное, единое по замыслу и композиции. «Поэзия — вещь концентрированная,— убеждал Николай Николаевич.— Стихов не должно быть слишком много, иначе волшебное вещество поэзии попросту растворится в километраже необязательных строк».

Впрочем, в то время (как оказалось, более доброе по отношению к поэтам, чем нынешнее) многие авторитетные люди заметили и по достоинству оценили стихи казанского автора. На самую первую его книгу откликнулся рецензией в «Комсомольской правде» Марк Соболь. Давид Кугультинов рекомендовал Николая в Союз писателей. Евгений Евтушенко писал в «Комсомольце Татарии» о его второй книге «Ветер». Сибгат Хаким был автором предисловия к «Казанской тетради». На эту же книгу — любимое детище самого автора — опубликовал рецензию в «Литературном обозрении» Давид Самойлов. В Москве у Николая Николаевича благодаря поддержке бывшего главного редактора «Литературной России» Константина Поздняева вышла только одна книга — «Память». Доцент МГУ Вячеслав Воздвиженский опубликовал статью о поэзии Беляева в журнале «Дружба народов». Беляев с благодарностью вспоминал и уроки Александра Межирова, творческий семинар которого два года посещал на Высших Литературных курсах в Москве.

Большинство из упомянутых здесь — поэты-фронтовики. У Николая Беляева отношение к ним было особое. Он считал, что они первыми поняли многое из того, что потом взяли из их рук шестидесятники, если под шестидесятниками иметь в виду не только представителей вломившейся в «оттепель» поэтической эстрады (пять-десять нашумевших имён), а всё послевоенное поколение. И тут нельзя не вспомнить ещё и Бориса Слуцкого. Впрочем, процитирую одно из писем самого Николая Николаевича: «Стих Слуцкого больше брал не сделанностью, а той правдой, которой он дышал, той совестью, которой отличался...»

Беляева принимали на равных разные люди. И все они были едины во мнении, что Николай обретает присущие только ему интонации в своеобразном сплаве разных поэтических культур. С одной стороны — верность традициям русской классики. С другой — обращение к традиционным формам поэзии Востока, о чём говорят названия стихотворений: «Уроки Хайяма», «Монолог Дэрдменда». «Я — навек должник перед Востоком», — признавался поэт. Однако и Запад открывался ему: «янтарь Прибалтики учил меня светиться». Беляев строил в своём творчестве своеобразный мост между Западом и Востоком, а цемент в этом строительстве был замешан на искреннем интересе и уважении к духовным ценностям других народов.

Вот почему поэт немалое значение придавал работе над переводами. Однажды издательство «Советский писатель» выпустило переведённый им сборник латышской поэтессы Велты Калтыни «Говорю о земной любви». Книга быстро разошлась немыслимым для нынешнего века тиражом в 15000 экземпляров (ещё одно доброе воспоминание о «тоталитарном» режиме) и была одобрительно принята критикой. А что касается поэтов-земляков, то Беляев переводил их много и хорошо. Я уверен: если бы Таткнигоиздат в своё время выпустил книгу избранных переводов Николая Беляева, она стала бы одной из самых интересных антологий современной татарской поэзии на русском языке.

Увы, не выпустил. Впрочем, не поздно это сделать и сейчас. Нужно только, чтобы издатели и ценители татарской поэзии захотели. Пока практикуются (и, вероятно, хорошо оплачиваются) заказы на художественный перевод в Москву, но не русским поэтам, живущим в Татарстане. Другое дело, что качество нынешних переводов явно уступает тому, что делал и нам завещал продолжать Николай Николаевич. Ему были благодарны за сотрудничество Хасан Туфан, Сибгат Хаким, Ильдар Юзеев, из своих ровесников он охотно переводил Рената Хариса, Равиля Файзуллина, более молодых Рустема Мингалима, Мудариса Аглямова, Зульфата...

Не о наступивших базарно-рыночных временах мечтали поэты послевоенного поколения. Многие из них (автор этих строк, в том числе), искренне поверив в перестройку, ратовали за гласность, демократию, свободу слова. Каюсь: «Я не хотел бы возвращаться в советское прошлое» — мои слова, необдуманно сказанные в конце восьмидесятых. Ныне-то представляется, что мы, оказывается, жили в счастливой и дружной многонациональной стране. Не могу забыть упрёк, высказанный в начале девяностых одним писателем-фронтовиком: «Мы воевали, а ваше поколение профукало страну на кухнях под песни Окуджавы». И это правда. И вопрос: почему нас обманули — неуместен и глуп. Нас обманули потому, что мы поверили. Нас использовали и о нас забыли. Мы, пережившие горбачёвскую эйфорию, аплодировавшие Николаю Травкину, когда он на съезде писателей демократического движения «Апрель» призывал к созданию антикоммунистической партии, оказались в нынешнюю эпоху многопартийности ненужными и лишними.

Николай Беляев, сидевший на том «апрелевском» съезде в зале ЦДЛ рядом со мной, Травкину, между прочим, не аплодировал. Он, в отличие от меня, Серёжи Малышева и Славы Баширова (Серёжи уже нет в живых, Слава уехал в Израиль),

делегированных вместе с ним на данное мероприятие от Татарстана, отнёсся к выступлению знатного строителя, Героя Социалистического Труда, ставшего вдруг антикоммунистом, скептически и даже с тревогой, чем нас удивил. А меня и предостерёг:

— Тёзка, не впадай в телячий восторг. Не ты ли недавно написал: поэт — «человек сугубо беспартийный». Вот и оставайся самим собой.

Предостережение, слава Богу, сработало, я как был, так и остался сугубо беспартийным, памятуя ещё одну беляевскую строку: «Поэзия — лучшая из религий». В нынешнем, искусственно создаваемом под присмотром власти «гражданском обществе» «лучшая из религий» оказалась невостребованной в угоду экранному обезьянничанью, дешёвой попсе, парадам физкультурников и дурно пахнущим политическим спектаклям: «нам не нужны Рубцов и Пушкин, ждём новостишку из Кремля».

Эту драму тяжело переживал и Николай Беляев. Масла в огонь подливало спровоцированное в начале девяностых межнациональное противостояние в родном Татарстане. Николай Николаевич любил в человеке человека, никогда не выделяя в нём национальную принадлежность. Неприятие национализма в любой его ипостаси заставило поэта покинуть любимую Казань и вместе с семьёй переехать в село Ворша Владимирской области, стоящее на федеральной трассе в ста пятидесяти километрах от Москвы. Там и настигла старость, а вместе с нею болезни и творческий кризис. Несколько лет Беляев вообще не писал. Изредка я заезжал к нему по дороге в столицу и слышал мрачное: «Стихи никому не нужны».

Было больно. Но в глубине души верилось, что это пройдёт, ибо стихи пишутся не потому, что они кому-то нужны, а потому, что поэт не может их не писать. Так и случилось. Прорвало! Последовали новые публикации — в казанских изданиях, в нашем «Аргамаке», в журнале «День и ночь», который в Красноярске издавал Роман Солнцев — единоверец Беляева со студенческих лет. Он и помог поэту издать к его шестидесятилетию (сентябрь 1997 года) новую книгу, вслед за которой последовали и другие издания: в 2001 году мы выпустили «След ласточки», а к следующему юбилею поэта (2007 год) Татарское книжное издательство выпустило книгу «Помню. Слышу. Люблю», за которую Беляев был удостоен литературной премии имени Г. Р. Державина.

А в 2012 году Николай Николаевич и Вилора Касимовна вернулись в Казань. Президент Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов способствовал выделению для поэта из госрезерва благоустроенной квартиры в новом доме на улице Чистопольской. Этого счастливого возвращения не случилось бы, если бы о нём не походатайствовал перед президентом нашей республики академик Наиль Мансурович Валеев. Знакомство с ним у Беляевых завязалось во время подготовки к изданию последней прижизненной книги Николая Николаевича «Поэма солнца». Эта книга, признанная ныне исповедью поколения шестидесятников и посвящённая самому солнечному художнику казанского андеграунда Алексею Аникеенку, ещё в рукописи вызвала интерес Наиля Мансуровича. Чуть позже он её и великолепно издал на собственные средства. А побывав в Ворше, увидел, что крыша в частном доме поэта худая, за огородом и отоплением следить некому, пенсии на содержание и ремонт не хватает, одним словом — край... И отвёл от края. В Казани один из самых казанских поэтов, вернувшись, прожил ещё пять лет...

Поэзия, как говорят сами поэты, тот же наркотик, наваждение, от которого не избавишься. И уж, точно, это не профессия, а «лучшая из религий», как сказал наш казанский наставник. Наверное, это призвание. Как и музыка, как всякое высокое искусство.

Николай Николаевич Беляев исполнил своё предназначение. Его земной путь не мог быть другим.